

Ольга Никулина

ИЗУМРУДНАЯ ТУХА

РОМАН

Самое время!

Ольга Никулина

Изумрудная муха

«ВЕБКНИГА»

2022

Никулина О. Л.

Изумрудная муха / О. Л. Никулина — «ВЕБКНИГА»,
2022 — (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-2282-6

У жанра семейной саги много поклонников. Они любят, когда история раскручивается издалека, движется неторопливо, разговоры начинаются с «а помнишь...». Ольга Никулина поначалу строго следует канону. Но чем ближе к финалу, тем чаще в неспешный, почти старинный роман вторгается современный экшн – детектив, боевик, криминальная драма. Чего не хватает в этом параде жанров, так это фантастики – все очень реально и, к сожалению, знакомо. Бабушка, дочка, внучка. У бабушки – Дом ветеранов сцены, у дочки – подруга-журналистка, у внучки – первая любовь... Но в благополучную семейную историю из драматичного прошлого и влетает та самая муха – «небольшая брошь: на тонком золотом каркасе головка и крылышки в мелких бриллиантах, спинка и брюшко насекомого – овальный изумруд глубокого зеленого цвета». Семейная драгоценность. «По описанию очень похожа на навозную, если без бриллиантиков, подумала Люба». Этой мухе удастся многое: поссорить родных людей, до предела обострить сюжет и даже скрыться восвояси. Как будто ее и не было. Но она была.

ISBN 978-5-9691-2282-6

© Никулина О. Л., 2022

© ВЕБКНИГА, 2022

Содержание

1	6
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Ольга Никулина
Изумрудная муха
Семейная сага

© О. Л. Никулина, 2022

© «Время», 2022

1

С лестничной площадки, еще ковыряясь ключами в разболтанных замках, Люба услышала голос мамы. Елизавета Ивановна говорила по телефону.

– Душенька, что теперь настоящее? Сплошная синтетика. Теперь никто в своих бриллиантах на сцену не выходит. Бывало, в те-то времена богатые поклонники актрисам целые состояния дарили, особняки, экипажи... Не чета нынешним. Теперь достаточно в ресторане угостить, хе-хе. Кшесинская в своих танцевала, в знаменитой диадеме, что ей великий князь пожаловал. Барсова пела в нитке жемчуга чуть не до колен. Или Обухова? Я стала многое путать. У Ирины Юсуповой, если я не ошибаюсь, был ошейник с жемчугом в несколько рядов и жемчужная пряжка с крупным рубином. Дивные вещи! Лепешинская, говорите, Уланова... Да... У наших старух? Немного. Более скромные, не столь шикарные. У Дуровой? Ах, у Дуловой! У Веры Дуловой, да. Фамильные драгоценности, она ведь княжна. У Зыкиной?.. Пожалуй. Популярность огромная, н-да... со вкусом негусто, аляповатые камни... Согласна... Красиво смотрелись на Наташе Шпиллер, она вообще умела одеться. Какие артисты были! Из теперешних? Назовите! Да что вы! Навещают, дают концерты? Халтурят, наверное. Нет, по общественной линии? Любезно с их стороны. Но и вам есть что им предложить... Есть силы... И на премьеры вывозят? На прогоны? На юбилеи приглашают?! Прямо светская жизнь. Вам есть в чём показаться. Поклонники баловали и в советское время. Понятно те, кого занимали исключительно в массовых сценах, дары да корзины цветов не имели, отсюда зависть, интриги, сплетни... Это театр! А помните, какая драма была, вся Москва гудела... Я говорю о Каралли, балерине, любовнице Собинова. Объявил о разрыве, она в чем была прыгнула в извозчика, захватив только чемоданчик с драгоценностями – ах какие это были дары! Она блистала в них на сцене... В Императорском танцевала... Он ее обожал, осыпал бриллиантами... и вдруг измена – появилась другая – разрыв. Только вообразите её состояние... Психологическое... В истерике забыла, оставила на сиденье! Всё, всё, что дарил в течение нескольких лет! В чемоданчике из крокодиловой кожи! Ужас, что она испытала!.. Потерять Собинова! Чарующий голос, дамы в обморок падали... Пардон, опять я всё перепутала! Наоборот. У Собинова был страстный роман с сестрой нашего Пров Михалыча Садовского, она жила у него. Но появилась молодая балерина, Каралли. Влюбился. Конечно, объяснение, разрыв. Она забрала только несесер с роскошными драгоценностями, его дарами. Прыгнула в извозчика, несесер поставила рядом. И только дома поняла, что забыла его на сиденье. Возможно, вы правы. Не из крокодиловой кожи... А извозчика и след простыл! Она потом была женой Михал Михалыча Климова, но не последней. Каралли эмигрировала... Нет, теперь так любить не умеют. Возьмите мою дочь. Какие там цветы? Что вы! Пачка мороженых пельменей из гастронома, пучок петрушки с рынка, в лучшем случае пакет картошки или молока из палатки. Вот и вся романтика, душка моя... Какой же это муж, скажите на милость. Годами живут он у себя, она у себя. Ни семьи, ни детей. Приходящий. Любка его оправдывает, дескать, человек поглощен работой, своей наукой. В этом у него смысл жизни, видите ли. Она фантазёрка. До каких лет дожила, а ума не нажила... Приедет раз в неделю, поужинают, она своё, а он себе силос из трав и репы настрогает – репа животу подкрепа, ж... пагуба, хе-хе... Ест только сырое, по какой-то восточной методе. Йог, видите ли. Нудный, кислый, и как ей с ним не скучно! К ночи пойду на кухню мимо Любкиной комнаты, оттуда громкое пыхтение. Думаю – любовь. Ничего подобного. Он сидит на коврике посреди комнаты у распахнутого окна в позе лотоса. Руки раскинул, глаза навывкате и дышит. Как паровоз. Дверь никогда не прикрыта – ему нужен воздух. Утром иду – опять пыхтит. В нирване на коврике. Он в портфеле его с собой возит. Потом на сорок минут запрётся в ванной, туда уже не попадёшь. А Любка в кухне трёт ему силос из репы, морковки, чеснока и трав, которые он в пластиковом пакете привёз из дома. В

том же портфеле. На меня, на Катерину ноль внимания. Катерина платит ему тем же. У него своих детей нет... Любкино слепое увлечение, безумство. У самой дочь в опасном возрасте... А Любкин первый? Газетчик, красавчик. Красивый муж – чужая радость, говорили в старину. По двадцать пять было обоим. Пора бы детишек завести. Он категорически против. Дескать, нам скоро тридцать, мы так жизни не увидим. Любка забеременела. Гарик, что за имя – он же Игорь, и Катька – Игоревна. Орал, орал, ушёл к родителям, вернулся, зудел, выходил из себя и после рождения дочки вообще ушёл. Не желаю плодить нищих, говорил. Алименты жалкие идут пока. Ни разу дочкой не поинтересовался. Ни он, ни его родители. Дорогая моя, мы с покойным мужем бывали в домах профессоров, артистов, писателей, людей известных... Даже один раз у министра культуры Храпченко, помните такого? Нет? Был такой. Я к тому, что у всех имелись семьи, жёны, дети, тёщи... Теперь вот Эдик. Нашла в нём что-то необыкновенное, гениальное. А по-моему, эгоист обыкновенный – знаете, как у Брема называются виды животных, хе-хе. И всё Эдик звонил? Эдик не звонил? Ему пятый десяток, а он всё Эдик. А Катька? Приходит из школы со своим митрофаном из класса, закрываются, оттуда музыка, хохот. Бум, бум, бум. Я говорю: пора выпроваживать кавалера, садись делать уроки. Раз сказала, два сказала. Никакой реакции. Смех, музыка. Он ей: да пошли её! Ничего себе?! У неё гуманитарные идут сносно, а с математикой нелады... Да-с, перевелись нынче рыцари, готовые всё положить к ногам! Спешите? Опять на политинформацию? Не могут оставить вас в покое. Ах, это её частная инициатива? Конечно, она ж партийная была. Что?! Повесила у себя икону?! Какой пассаж неожиданный! У нас в театре многие были верующие, старухи – несомненно. Все скрывали, боялись. Помню на Пасху мы с Рыжовой, с Яблочкиной, с Турчаниновой освящёнными крашеными яйцами обменивались, в сумки незаметно или в руку совали, христосовались. Нам тётя Маша, одевальщица, на Крещение потихоньку святую воду из церкви в бутылочках носила. Раисе Романовне Рейзен – помните её? Вдова Михал Михалыча Климова, красавица, княгиня играла в своих бриллиантах, царство им небесное, теперь оба покойники... Да, так однажды принесла ей водичку из церкви в четвертинке! Раиса её распекала, но Машка клялась, что промыла, водочкой не пахнет... Правда не пахла... Скрывали, что православные. Я крестик перед репетицией или спектаклем в носовой платок и в сумку прятала. Партийные бонзы замечали, конечно, но помалкивали... Ой, простите, я вас заговорила! Вам пора на полдник, ах нет, запоматовала, на политинформацию. Да вы уж половину пропустили. А чего там нового в газетах? Одно и то же. Перемены? Не знаю, телевизор смотрю не постоянно – глаза. Спрошу у Любки. Хотя она вообще газет не читает... Вот, кажется, она пришла. Те же из тех же дверей, – Елизавета Ивановна хохотнула, как всегда, когда ей удавалось вернуть старую театральную шутку. – Ну, бегите, детка, с Богом. Целую, мой ангел. Позвоню после программы «Время». Если телефон будет не занят. Любка часами журчит со своим Эдиком. У неё второй аппарат. Он всё на начальство жалуется – случайно подслушала. Катька берёт аппарат к себе и часами треплется со своим митрофаном. Глупые разговоры, моют кости училкам. Хохочут, а я ничего смешного в их шуточках не нахожу... Смех без причины – признак дурачины, говорили в старину. Ой, опять заболталась, извините. Бегите, бегите. Адьё, мон анж. Не смею вас больше задерживать. Привет нашим девочкам.

Телефонными респондентками Елизаветы Ивановны были обитательницы Дома ветеранов сцены, старые актрисы, бывшие коллеги по Малому театру, которому каждая из них отдала почти полвека своей жизни и в котором сама Елизавета Ивановна проработала тридцать с лишним лет.

Мать Любы, энергичная и статная дама почтенного возраста, давно была на пенсии. Временами, обычно осенью и зимой, боли в суставах почти лишали её подвижности, но и тогда, вынужденная ограничивать своё жизненное пространство в стенах старой трёхкомнатной квартиры на седьмом этаже крепкого, довоенной постройки дома в Замоскворечье, она не теряла связи с окружающим миром. Дни её были предельно заняты. Она командовала нехит-

рым домашним хозяйством, заполняла счета, принимала визиты соседок, с которыми обсуждала международное положение, состояние улиц, городской природы и городского транспорта, жилищно-бытовые вопросы и другие проблемы, волновавшие всех старушек и не только старушек – коренных москвичей. Особо выделялась тема отцов и детей. Бабушки и родительницы взрослых и вполне зрелых и даже несколько перезрелых отпрысков имели к ним претензии. Впрочем, самые всегдашние, ничего нового, переходящие из поколения в поколение. Она слушала радио, следила за телевизионными программами, просматривала свежие газеты и журналы – их выписывала и доставала из почтового ящика Люба. Иногда перечитывала любимые книги, предпочитая старенький том пьес великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Временами возвращалась к сказкам Пушкина – их читала вслух по воскресеньям, чтобы Люба, возившаяся в эти часы на кухне, вспоминала детство. Когда Люба была маленькая, она часто болела, и Елизавета Ивановна читала ей вслух. Обе любили Некрасова – его поэма «Мороз, Красный нос» доводила их до слёз. Стряпнёй занималась неохотно, чаще предоставляя это занятие дочери. Она подолгу говорила по телефону. Она звонила, и ей звонили. В доме постоянно звучал её голос. Ещё она любила смотреть в окно и громко, поставленным голосом (в школе Малого театра) комментировать свои впечатления. По утрам:

– «Встаёт купец, идёт разносчик, на биржу тянется извозчик...»

– «Октябрь уж наступил, уж роща отрясает...»

– «Мороз и солнце, день чудесный...»

Под вечер, когда улица пустела:

– «Тишина немая в улицах пустых, и не слышно лая псов сторожевых...»

Или вспоминала начало монолога Весны из «Снегурочки» Островского, где она играла роль Весны:

– «В урочный час обычной чередой спускаюсь я на землю берендеев...» – вот только не помню, урочный или полночный, память уже не та. Если не ошибаюсь, Снегурочку играла Еремеева, Мизгиря – Борис Телегин, Михаил Садовский, если не вру, Леля. Или наоборот... Красавец был! Жив ли он? Надо спросить у девочек... Или Сергей Конов? Запуталась. Мороза – Ржанов. Или... Опять навру!

По настроению могла вернуть народный вульгаризм (из кухаркиного фольклора, говорила она):

– Весна, палка на палку, хе-хе...

Сердилась:

– Подморозило, намело, а дворники вовремя тротуары очистить не могут! Люди падают, кости ломают. Вот напишу в газету... Мальчишки, обормоты, паршивцы, опять без шапок. Куда учителя смотрят?

Или предавалась воспоминаниям:

– Как изменился наш Толмачёвский! Построили научные институты, снуют машины – портят воздух, потоки служащих уже с утра шаркают ногами под окнами... И в Лаврушинском полно народа. Школьников в Третьяковку водят... Раньше тут тихо было. Под нашими окнами – развалюхи. Мы заселили дом в 37-м, внизу под окнами была деревня. Деревянные покосившиеся домишки за кривыми заборами в ряд стояли, окошками в переулок, за заборами дворы с сараями, поленницами, курятниками, голубятнями, огородами. Летом всё утопало в цветах. Золотые шары до крыш. Сирень разрасталась, ягодные кусты скрывали шербатые постройки. На клумбах табак, гвоздика, анютины глазки. Не ленились, ухаживали, поливали каждый вечер. Вся жизнь на улице. Постельное бельё, матрацы, подушки сушили во дворах. Развешивали на солнце стираное бельишко, исподнее, зимние вещи. Коврики выбивали палками. Клопов, тараканов, моль морили. Вечерами после трудов чай – на сколоченных из досок столах самовары, слипшиеся конфетки, бублики. Скучно жили после войны. В жару спали под открытым небом. На лавках или вытаскивали кровати. Праздники всем миром справляли, в

складчину. На Пасху старушки в платочках стайками ходили святить куличи. На Вербное воскресенье с вербочками, на Троицу с берёзовыми веточками, с цветочками. Именины, поминки, свадьбы. И советские праздники. Особенно День Победы, Первомай. Частушки, пляски под гармошку или под патефон. Топочут, аж пыль столбом. Бывали драки, мордобои, семейные сцены, господа, мат-перемат. Часто из-за дров. Подворовывали друг у друга, хе-хе. Разнимали. Прибегал милиционер, свистел – тогда милицию боялись. А зимой сугробы вырастали так, что окошек не видно было. Разгребали лопатами. Делали дорожки, посыпали песком. А морозы ударят, из труб дым до небес, и так приятно потянет дымком, как в настоящей русской деревне! Ребятишки катались с горок на санках. На Новый год люди выкладывали в окошках на вату звёздочки, вырезанные из конфетных блестящих бумажек. Прохожие в Толмачёвском останавливались, засматривались. Бедненько, но красиво. Всякое было. Трудно жили. Мы Толмачёвский Растеряевой улицей называли. . . В пятидесятые всё снесли. Жильцов переселили. Настал конец Растеряевой улицы. Помнишь, как горел последний домишко? Жильцы сами подожгли – надоело в трущобе жить. Скарб свой успели выгащить, не дураки. У нас в театре до войны спектакль шёл «Растеряева улица» или «Нравы Растеряевой улицы», точно не помню. По роману Глеба Успенского. Великолепный был спектакль. Я студенткой на выходах в нём была занята. Состав был прекрасный: Толоконникова Михал Михалыч Климов играл, кухарку – Масалитинова в очередь с Рыжовой, Пашенная – Маланью, Липочку и Верочку – Белёвцева и Гоголева, обе красотки, молоденькие ещё. Блестяще играл пьяницу-портняжку Сашин-Никольский. Вот тебе пожалуйста, актёр второго плана! Великолепный был актёр. Да тогда кого ни возьми все первачи!.. Замечательная сцена – диалог Данилы Григорьевича с Маланьей Ивановной: «Ну, Малань Иванна! А в нашем городе что же вы? Пужаетесь?» – «Пужаюсь!» – «Пужливы?» – «Страсть как пужлива. . . Сейчас вся задрожу!.. Да и признаться, всё другое, всё другое. . . Опять народ горластый. . .» В зале хохот. Прекрасно принимали спектакль. Успех был оглушительный. Надо порыться в памяти, вспомнить всех исполнителей. . . Что ни спектакль, то триумф, артисты – гордость русского искусства. Эх, не пора ли мне взяться за мемуары, душа рвётся, руки чешутся. . .

Монологи эти она обычно обращала к Любе, когда та приходила с работы. Или к навесившей её соседке. Или по телефону к бывшей коллеге из Дома ветеранов сцены. Воспоминания были для неё неистощимым источником жизненных сил, и хотя темы повторялись, Елизавета Ивановна всегда находила благодарную аудиторию. В лице Любы, однако, не всегда. Но она дочь свою извиняла: Любка замотана, библиотечная работа с девяти до шести, очереди в магазинах, дома уборка и готовка. На личную жизнь почти не остаётся времени. Да и какая ей личная жизнь на пятом десятке? И тут же вспоминала собственную прожитую жизнь. Совсем другое дело, всё-таки актриса, пусть не первого ряда. И муж литератор. Не очень известный, но зарабатывал неплохо, семью содержал. Не то что начинающий журналист, отец Катерины, с которым Любка давно рассталась. А какая трагедия была! Потом она успокоилась. И вот теперь этот Эдик. Впечатления настоящего времени чередовались с прошлым, прошлое давало пищу для раздумий, возвращая связями к сегодняшнему дню, и этот непрерывно творящийся в её мозгу процесс был продолжением дела, определившего всю её судьбу. А делом был Малый театр, хоть, признаться, большой карьеры на театральном поприще она не добилась. Дважды ей повезло – перепали крупные роли купчих в пьесах Островского, и она достойно их сыграла. Зрителей привлекала её высокая стройная фигура, умение носить костюм и произносить реплики сильным грудным голосом, богатым интонациями. Она немного нараспев протягивала гласные, что считалось характерным для старой московской речи. «А это, – говаривала Елизавета Ивановна, – сейчас и многим ведущим не дано, разучились». Особенно хороша она бывала в первой паре в сценах бала. Костюмы на ней сидели как влитые, будто всю жизнь она ходила в длинных платьях со шлейфами и в кринолинах. И вообще в театре она слыла русской красавицей.

В артистки Елизавета Ивановна пошла по призванию, потому что все в её семье были театрами. Отец её, купеческого рода и звания, в советские времена рабочий мастер на заводе, смолоду был серьёзным опероманом, завсегда императорских театров и известных частных опер. Много раз с галёрки слушал Шаляпина и Собинова, а когда женился, возил жену и дочку на балетные спектакли и в драму. Вкусы были разные, но любовь к Малому театру у них была общей. Так говорила Елизавета Ивановна Любе, со вздохом упрекая её за то, что та не ездит с ней на Ваганьково, на могилку дедушки и бабушки. Елизавету Ивановну обычно сопровождала Марья Ефимовна, Маша-одевальщица, тётя Маша, её давняя подруга по театру, одевавшая актрис в женской грим-уборной, ныне пенсионерка. Там где-то недалеко в ветхом склепе покоились и её дворянские предки. Подруги ставили в церкви свечи, помолвившись, оставляли записочки за упокой. Утирая слёзы, клали поклоны, прикладывались к иконам, просили здоровья себе и близким и просветлённые выходили из церкви. После на такси ехали домой к Елизавете Ивановне, накрывали стол, ставили закуски, перекрестившись, поминали родных покойных, выпивали, не чокаясь, по рюмочке, с аппетитом закусывали и начинали вспоминать... Свой Малый театр. Поминали ушедших из жизни подруг по театру, отдавали дань «...незабвенной памяти Евдокии Дмитриевны, Варвары Николаевны, Александры Александровны...». Не чокаясь, пропускали ещё по рюмочке, а затем налегали на горячую помасленную картошечку с селёдкой... Развеселившись, пересказывали друг другу курьёзные истории из актёрской жизни, судачили про театральные козни и каверзы, творимые актрисами-соперницами друг другу в борьбе за роли, из зависти к успеху, сплетничали, у кого из известных артистов с кем были романы (с оговоркой «на чужой роток не накинешь платок»), вспоминали театральные анекдоты, потешные ляпы и смешные оговорки на сцене: «...получить богатое наследство и сразу срать богачом...» – старая, избитая шутка, но подруги эти шутки повторяли с наслаждением и всякий раз хохотали до слёз.

– И смех и грех! – спохватывалась Елизавета Ивановна. – Ведь сели поминать. Нехорошо.

Потом переходили на общие темы. Поговорив о погоде, о ценах и очередях в магазинах, коснулись вопросов внутренней и внешней политики, поругали Америку и Англию, покритиковали собственное правительство, отметили недостатки в медицинском обслуживании населения (толпы в поликлиниках, плохие лекарства), попытались вникнуть в некоторые загадки мироздания, такие как появление новых фактов, свидетельствующих о существовании снежного человека и неизвестных науке чудищ в древних озёрах планеты, порассуждали о происхождении Земли и человечества, заклеив последними словами теорию Дарвина, обсудили шикарные туалеты шахини Ирана и Эдиты Пьехи, посетовали на непослушание подрастающих деток и вообще отсутствие полного понимания со стороны молодых соотечественников, поделились сокровенными секретами борьбы с возрастными болячками и внешними признаками старения, охватили широкий спектр проблем городского коммунального и транспортного хозяйства, в пух и прах разнесли работу домоуправов и прочих служб, отвечающих за благоустройство города, пожаловались на начальников всех уровней, которым, как займёт «такой прыщ» своё хлебное место, становится наплевать на народ, и потому помощи от них не жди, как ни бейся, никто простого человека не услышит; приводили примеры из своего опыта, из жизни знакомых и соседей, живущих в перенаселённых коммунальных квартирах – «а у этих восьмикомнатные квартиры, шикарные дачи...»...

Но была ещё одна животрепещущая тема.

– Лизок, ты праздничный концерт смотрела? Зыкина пела. У неё в каждом ухе вот по такому бриллианту! – тётя Маша, соединив кончики большого и указательного пальцев, образовала круг и приложила руку сначала к одному уху, потом к другому. – О! О! Как думаешь, настоящие?

– Не иначе. Её вся страна знает, у неё ставка за каждое выступление такая, что ни одной нашей народной не снилась. Поклонники высокопоставленные. Задарена, осыпана званиями.

Денег куры не клюют. Слышала, что шуб у неё больше десятка... Денежки не Бог, а милуют, мама говорила.

– Лиз, как думаешь, есть у неё... миллион? – у тётки Маши от этой мысли даже дыхание перехватило.

– Думаю, есть. Её любят. Голос и стать будь здоров! Фигуристая. Мужики это любят.

– Да, и голос, и стать. А всё-таки это слишком. Наши старухи всю жизнь театру отдали, а этого у них нет. Цапки – серёжки, камеи, бусы, конечно. Всё настоящее, старинное. Но не такие фонари в ушах! – вскипела тётка Маша.

– Может себе позволить – народная любимица... – со вздохом отозвалась Елизавета Ивановна.

– И правда. Нечего в чужих карманах денежки считать, грех на душу брать...

– На чужой каравай рот не разевай, как говорил мой покойный папенька, Иван Владимирович, царствие ему небесное, ему и моей покойной маменьке, Софье Михайловне.

Тётка Маша поминала своих, потом вместе всех тех, кого надлежало в тот майский день поминать.

Исчерпав все темы, подруги допивали по последней, и тётка Маша начинала собираться домой. Подруги приводили себя в порядок, припудривали носы, подкрашивали губки, долго одевались. Елизавета Ивановна по обычаю провожала тётку Машу до метро. Чтобы промяться, говорила она. Тогда они были пожилые, но ещё крепкие, бодрые и вполне элегантные дамы. Обе следили за своей внешностью, подкрашивали губы, подводили глазки, припудривались, умело поддурманивались. Душились хорошими духами. Французские духи Елизавета Ивановна приобретала в театре у спекулянтток. У них же – заграничные вещи. Перепадало и Маше, не столь благополучной, как Елизавета Ивановна. Марья Ефимовна была красива. В театре её профиль сравнивали с изображением римской патрицианки с античной монеты. В молодости она играла на сцене. Но произошло несчастье – на финской войне погиб её муж. Страшная душевная травма почти лишила её слуха. Она осталась верной театру и пошла работать одеващицей. Марья Ефимовна была старше Елизаветы Ивановны и прожила тяжёлую жизнь. Одна вырастила дочку. Потом внуков. Умерла в семидесятых – сдало сердце.

Старость нагрянула неожиданно. В конце шестидесятых Елизавета Ивановна овдовела. Стали уходить её подруги и друзья отца. Да и сама она ощутила годы. Давали о себе знать старые болячки, застуженные в военные годы в очередях ноги, спина, ухо, которое несколько раз продуло на сквозняке на сцене, начало подниматься давление, шалило сердце. Но сил ещё было много, в основном это выражалось в энергичных распоряжениях и побуждениях к действиям, которые она, будучи уже не в силах выполнить сама, адресовала дочери. Надо было держаться, воспитывать внуку, руководить дочерью, с точки зрения Елизаветы Ивановны не умеющей правильно распорядиться своей жизнью. Большую часть дня она проводила в своей комнате в кресле у телевизора, который помещался напротив на комод. Рядом с креслом на тумбочке стоял телефон. Раньше комната Елизаветы Ивановны служила супружеской спальней и была обставлена в духе покоев старых московских усадеб господ средней руки не слишком шикарной мебелью красного дерева стиля ампир, купленной Елизаветой Ивановной у престарелой актрисы из Театра оперетты. Вся мебель тут была в одном стиле. Центральное место занимала огромная двуспальная кровать с резной спинкой, лавровым венком в изголовье и псевдоклассическими колонками по бокам с завершениями в виде античных кубков. Кровать занимала большую часть пространства помещения. По обе стороны от неё стояли туалет и комод. В углу над комодом висели три иконы: большая в киоте Спасителя, поменьше – Богоматерь Владимирская и Николай Угодник, в окладах. Иконы перешли Елизавете Ивановне от маменьки и были конца девятнадцатого века. Старинные иконы, принадлежавшие Любиной прабабушке Наталье, перешедшие к ней от купцов-староверов, во время революции исчезли, возможно, сгорели вместе с домом. На другой стороне комнаты, у двери, помещался высокий

пузатый гардероб; ближе к балкону – упомянутые два кресла и между ними тумбочка с телефоном. Шёлковое покрывало на постель и тяжёлые на шерстяной подкладке портьеры, сшитые в пошивочной мастерской театра, были из одной материи тёмно-вишнёвого цвета. Стены по моде послевоенных лет были выкрашены в тёмно-синий цвет. На стенах фотографии: Елизавета Ивановна в разных ролях, которые она сыграла на сцене Малого, большой портрет отца в парадном костюме и галстук с медалью лауреата Сталинской премии третьей степени и небольшое фото первоклашки Любы в школьной форме с дедушкой и бабушкой и с котом Васькой. Балкон выходил на Большой Толмачёвский переулок. Рядом с комнатой Елизаветы Ивановны в бывшей детской жила Люба. Комната была светлая. Старая кровать бабушки служила Любе с подросткового возраста; платяной шкаф, бабушкин маленький туалет, бабушкин диван. Современные книжные полки, два стула и секретер Люба подкупила ещё в эпоху своего замужества. Кабинет отца был общей комнатой и служил чем-то вроде домашней библиотеки, а также, как и при отце, столовой в тех случаях (теперь уже редких), когда Елизавета Ивановна принимала своих близких друзей и родных в дни семейных торжеств. Люба отмечала здесь свой день рождения в кругу подружек и коллег. Угощение всегда было щедрое, несмотря на стеснённое материальное положение семьи. Елизавета Ивановна упорно хранила традиции и умела уважить дорогих гостей. Кабинет являлся апофеозом вкуса Елизаветы Ивановны. Массивные книжные шкафы, бюро и письменный стол, три кресла, диван, круглый раздвижной стол-сороконожка, шесть крепких стульев – всё красного дерева разных стилей девятнадцатого века – были куплены ею в период пика благополучия семьи у родовитой пожилой дамы из театральной среды за приличную сумму. (Многие старые семьи в то время переселялись из коммунальных квартир в центре в отдельные квартиры в новых районах Москвы, куда старинная крупногабаритная мебель не вмещалась, и им приходилось её продавать и обставлять жильё современной, более компактной.) В кабинете было тесновато, но все гости прекрасно рассаживались, всем места хватало. Ныне все вещи в квартире пожухли и обносились, полировка потускнела, облупилась, ножки стульев расшатались. Мебель определённо нуждалась в реставрации, но об этом никто не думал по причине отсутствия денег. Да и «придворный» краснодеревщик Василий Харлампиевич («Царствие ему небесное!» – не забывала повторять Елизавета Ивановна) давно опочил. «А нынешние все рвачи!» – сердито ворчала она. Кабинет отца и Любина комната, как и спальня Елизаветы Ивановны, окнами смотрели на Большой Толмачёвский. Через коридор напротив, оставляя место для вешалки под уличную одежду, была дверь в кухню, а за кухней в маленькой комнате жила Катерина. Убранство было более чем скромное: тахта, письменный стол, стул, полки с книгами и пластинками, которые ей отдала Люба, и на подставке проигрыватель. Занавесок не было – Катерина «страдала» минимализмом и занавески намеренно содрала. В этой когда-то уютной комнатке – бабушка постаралась – спал Любин дедушка, возвращавшийся со смены на заводе. Бабушка спала с Любой. Окна кухни и Катериной комнаты выходили на Кадашевские переулки и на панораму Боровицких холмов.

В обозреваемый период времени Елизавета Ивановна вынуждена была из-за больных ног большую часть дня проводить у себя в комнате у телевизора и поблизости от телефона. Она не желала терять контакт с миром. Она любила передачи про животных, про путешествия, любила смотреть «Огоньки», праздничные концерты, юбилейные сборища артистов. Ворчала, что показывают старые кинофильмы, но всегда смотрела их с удовольствием. Новости дня не вызывали у неё доверия; дудят в одну дуду, говорила она, всё ура, да здравствует, и без конца величают светлейший ареопаг, а коммуналки как были, так и остались, и очереди за продуктами, и вообще всего не хватает, даже самого необходимого, а те только и умеют что медальки себе навешивать и гайки народу закручивать, чтоб боялись и не жаловались... Вот и теперь в своей комнате, удобно устроившись в кресле среди подушек у телефона, прямо напротив телевизора, Елизавета Ивановна встретила Любу словами:

– Катерина ушла со своим митрофаном на дискотеку в школу. Так, во всяком случае, сказала. Ты бы с ней поговорила... Что сегодня выстояла в высотке? Петуха скрюченного, синего, замороженного, костистого, когтистого вместо курицы? Негодяи, что народу подсовывают! А из рыбы? Банку килек в томатном соусе?! Это что, теперь такой деликатес?! Больше ничего не было? Господи, раньше, в царское время, да ещё при НЭПе, помню, в Охотном Ряду какие белуги, судаки, стерляди, сельди, снетки, бочки с икрой... Бабушка варила щи со снетками! Ум отъешь! Куда это всё делось? Где, скажите, это изобилие? До чего довели страну, головоотяпы и жулики! В государственных магазинах продуктами из-под прилавка торгуют! Втридорога! Куда это годится? А?! – как у профессиональной актрисы, ей хватало дыхания на длинные тирады.

Она гневно раздула ноздри, вздохнула и с кряхтением поднялась, чтобы включить телевизор. Но вдруг, всплеснув руками, как это делали знаменитые старые актрисы Малого театра, игравшие старух в пьесах великого драматурга, сказала то, что говорить не хотелось, но целый день не давало покоя. Потому что сказать – значило достать из фамильного шкафа хорошо упрятанный скелет. Этим скелетом в семье была Матрёна, позже по её же прихоти Мария, а для своих Мура, Мурочка, Мурка – младшая сестра Любиной бабушки Сони, то есть родная тётка Елизаветы Ивановны, в своё время преданная всеобщей анафеме и дружно позабытая. Но собравшись, как перед ответственным монологом на сцене, Елизавета Ивановна решилась:

– Ты тётю Муру помнишь? Мы вернулись из эвакуации, и она в конце войны повадилась к бабушке в гости, пока дед был на заводе. Дед её не жаловал. В сорок пятом летом у нас на Болотке устраивали танцы под духовой оркестр, и она тебя водила туда будто бы гулять, как приличная. Ты ещё в школу не ходила. Там вернувшиеся с фронта офицеры и ходячие раненые из госпиталей танцевали с местными девушками. Она шестимесячную сделает, бантики нацепит... Нарядится, надушится, губки сердечком накрасит... Бровки повыщипывала, платья подкоротила по моде. Паспорт нарочно потеряла в войну, выправила новый, десять лет себе в новом паспорте скостила. Имя новое взяла – Мария. Крещена была Матрёной в честь матушки Матрёны Московской. А по её представлениям все кухарки были Матрёны. И на семейном фото получалось, что я сидела у неё на коленях, когда ей было два месяца, а мне год. Бабушка с дедом так смеялись... А Мурке самой уже за сорок в сороковых было... Поставит тебя в сторнке и идёт танцевать. Хотелось ей подцепить офицера, не меньше. И подцепила. Офицера – он долечивался в госпитале после ранения, тут, в Москве. Сам с Украины, из Харькова. У него там жена и маленькая дочка остались. Окрутила, развела, увезла к себе в Подмосковьё. Он был моложе Мурки на десять лет. А в её новом паспорте выходило, что он старше её. Влюбился как дурак... Красивый, высокий, смуглый, шевелюра курчавая, чёрных глаз своих с Мурки не сводил... А она, подлая, бывало, вся извертится перед ним, девочку из себя строит... Семью бросил ради этакой вертихвостки... Степан Кузьмич его звали. Помнишь его? Ты вообще помнишь то время? Послевоенное? Ну вот, а потом... Вылезла вся её подлая, низкая, гнусная натура... Истинная сущность! Идёшь на кухню? Хорошо, поешь, позже договорим. Что-что? Нет, Эдик тебе не звонил... Говорю, не звонил! Он занят наукой – изобретает электричество.

– Мам!

– Ну хорошо, не электричество.

Громко стуча палкой – палкой ей служила щегольская трость покойного мужа с набалдашником из слоновой кости в форме усатого турка в феске, привезённая им из Франции, – она последовала за Любой на кухню и в спину ей крикнула:

– Я хотела тебе сказать вот что: сегодня днём он тебе звонил! Степан Кузьмич, не Эдик! Те-бе!

Елизавета Ивановна подошла к окну и села на своё излюбленное место у кухонного стола – напротив Любы. За окном открывался городской пейзаж несравненной красоты, но Елиза-

вета Ивановна, всегда любовавшаяся им, теперь его не замечала. Окаменев лицом, она устремила яростный невидящий взор в мутные осенние сумерки.

Внизу тёмными силуэтами под слабым светом фонарей выступали старенькие дома Кадашевских переулков, но хорошо была видна на фоне угасающего дня колокольня храма Воскресения в Кадашах. Особенно она была красива издали – вся в белокаменных кружевах. Храм был запущен: облупились стены, розовая краска смешалась с грязью, потемнели белокаменные узоры, пожухли купола, на карнизах проросли деревца. Он давно был обращён в реставрационные мастерские, что определённо грозило гибелью дивному храму. Однако издали, да ещё в сумерки, его плачевное состояние не так бросалось в глаза, а первозданную красоту дорисовывало воображение. Но латаные крыши старых домов, серые деревянные постройки и разбитые тротуары портили панораму старого города – особенно весной и осенью, когда стаивал снег и облетала листва. Кадашевские переулки были густо заселены, и жители, трудовые люди, находили время, чтобы украсить свои дворы к праздникам. Они сохраняли одичавшие за время войны фруктовые деревья, засаживали садики сиренью и жасмином, как могли, чинили покосившиеся крылечки, крыши, сараюшки, строили беседки во дворах и детские площадки. Тут было полно детворы. Во многих дворах были голубятни – под свист хозяев над Кадашами носились стайки голубей. Где-то в садах пел соловей. А на рассвете кричали петухи – у рачительных хозяев были курятники, и у всех были свои сараюшки, в которых хранили дрова и всякую рухлядь. Всё это существовало здесь с давних пор и год от года ветшало, гнило и заваливалось; заборы между старыми усадьбами давно растащили на дрова. Кадаши хороши были летом, когда всю неприглядную картину мерзости запустения скрывала листва деревьев, старые вытянувшиеся в рост яблони и разросшиеся кусты сирени и жасмина. Приземистые сараюшки скрывались за стоящими стеной золотыми шарами. И зимой хороши были эти старые переулки, когда домишки стояли под шапками ослепительно белого снега и сугробы скрывали деревянные покосившиеся лачуги и сараи. Жители и дворники прочищали дорожки вдоль тротуаров и к домам. Очищали от снега бульжные мостовые, и по краям дороги вырастали огромные сугробы – на радость детворе. Те делали горки и катались с них на санках, на дощечках, на прохудившихся тазах. Им попадало от дворников – по мостовой растаскивался снег, им прибавлялось работы. Да и опасно было: хоть редко, но по переулкам проезжали машины.

Весной сугробы таяли, и по бульжной мостовой, журча, бежали к набережной Канавы шумные прозрачные ручьи. Природа Замоскворечья просыпалась. Кадашевские переулки получили имя по старинному названию мастеров, которые изготавливали кадки – бочки на потребу торговым рядам за Москвой-рекой, а также для нужд царской кухни. В кадках мариновали и солили на зиму овощи и фрукты из царских садов, раскинувшихся по берегам Москвы-реки. Здесь же находилась слобода, в которой жили эти мастера со своими чадами и домочадцами, по наследству передавая ремесло детям и внукам. Тут, в сердце Замоскворечья, названия улиц и переулков обозначались по типу ремёсел, которыми занимались местные жители. Толмачёвские – в которых жили толмачи-переводчики. Рядом была слобода, где останавливались на постоянных дворах иноземные торговцы. Поблизости – Старомонетный, значит, в этой слободе чеканили монеты. Какие-то названия носят отпечаток исторических вех: Пыжевский – по фамилии стрелецкого сотника, Казачьи, Ордынка, Татарские... Так с увлечением объясняли происхождение названий говорливые старожилы здешних мест, ещё не ведая, что вскоре, в пятидесятых, их начнут переселять в новые районы, на окраины Москвы. Но они будут сюда возвращаться по зову сердца – ведь в этих переулках прошло их детство, молодость... Они будут сюда ездить с самых отдалённых окраин, даже когда тут всё изменится до неузнаваемости...

Над Кадашами, выше ярусом, за невидимой за домами Канавой (обводным каналом) тянулась полоса деревьев на Болотном сквере. Взгляд скользил выше – за сквером, скрытая за домами Софийской набережной, текла Москва-река. И наконец, верхний ярус венчала пано-

рама Кремля на Боровицких холмах. Жителям верхних этажей дома в Лаврушинском поначалу был виден весь Кремль от моста до моста, от дома Пашкова до собора Василия Блаженного и до Балчуга. Вся цитадель была как на ладони. Но после войны к дому пристроили еще секцию на два подъезда, и дом Пашкова с Боровицкой башней и здание Оружейной палаты из панорамы исчезли. Но остался Большой Кремлёвский дворец и вид на Соборную площадь со всеми соборами, старые правительственные здания на заднем плане, Спасская башня и за воротами – собор Василия Блаженного. В ясную погоду золотом блестели купола соборов. Иногда, в дни, отмеченные важными событиями государственного значения, можно было видеть, как от Кремлёвского дворца, сверкая на солнце панцирями крыш, отъезжают длинные чёрные правительственные лимузины, направляясь к Спасским воротам и на Красную площадь. Сквозь городской шум ветер доносил бой кремлёвских курантов. Но вот начинало темнеть. Дворец, соборы и Спасскую башню снизу подсвечивали, загорались кремлёвские звёзды на башнях, и тогда особенно красноречиво выступал великодержавный облик Кремля. Кремль доминировал в пейзаже за окном при любом освещении, при любой погоде, держал внимание зрителей в любое время суток, во все времена года. Он завораживал своим величием.

Сменялись эпохи, сменялись правители, над страной проносились бури, но этот роскошный, умиротворяющий вид из окна был незыблем. Елизавета Ивановна раньше подолгу любовалась им – Боровицкие холмы были на уровне глаз. Зрелище мощи государства, говаривала она. И всегда в дни больших государственных праздников, когда бывали парады на Красной площади, она созывала домашних на внушительное зрелище: на холмах за стенами Кремля стоявшие в ряд пушки мощными залпами возвещали о начале парада. Точно в назначенный час ухали одновременно с десятков пушек, извергая огонь и пламя из жерл, гром гремел над округой, и казалось даже, что земля сотрясается под их домом. По радио звучал гимн, и начинался парад. Красная площадь не была видна, её заслонял собор Василия Блаженного, но рокот танков доносился до жителей окрестных домов за Москвой-рекой. Потом танки шли по Ордынке, расковыривая асфальт и дымя, за танками шли самоходки с солдатами и пушками на прицепах, и посмотреть на это собирался народ. Сквозь шум моторов были слышны крики «ура!», возгласы ликования и «да здравствует...!». Елизавета Ивановна любила праздники. Потом пушки из Кремля убрали или куда-то перенесли. Но последнее время, созерцая государственную твердыню на Боровицких холмах, хмурилась и иногда гневно произносила: «До чего довели страну, господа хорошие! Бумазейные панталоны и простые чулки в резиночку старухам по талонам продают! Мыло по талонам! Нужные продукты с полок исчезают, люди за водкой в очередях давятся, дерутся! Уж сколько лет прошло после войны, а нас, похоже, скоро опять на карточки посадят! Доиграются они с этой своей демократией...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.